

К ВОПРОСУ О НАРРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО, Н. М. СОКОЛОВСКОГО, А. П. ЧЕХОВА

(ТЮРЬМА, ССЫЛКА И КАТОРГА В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА)

Г. А. Шпилева, В. А. Бондаренко, О. А. Горбацевич

Воронежский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 2 марта 2021 г.

Аннотация: в данной статье предпринимается попытка рассмотреть, вслед за другими литературоведами, некоторые аспекты изображения российской пенитенциарной системы в литературе второй половины XIX века при использовании нарративных подходов. Авторы настоящей статьи делают вывод о том, что, сохраняя общий гуманистический пафос (сострадание, желание пробудить интерес общества к заключенным), каждый из упомянутых писателей (Ф. М. Достоевский, В. М. Дорошевич, В. Г. Короленко, С. В. Максимов, Н. М. Соколовский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, Г. И. Успенский, А. П. Чехов, П. Ф. Якубович и др.) сказал свое значимое слово: призвал общество обратить внимание на важные проблемы «преступления и наказания». Однако это авторское слово прозвучало в каждом случае по-разному — согласно творческим стратегиям писателей.

Ключевые слова: Достоевский, Соколовский, Чехов, итератив, сингулятив, пенитенциарная система, реформы, каторга, ссылка, нарратив, жанровая природа.

Abstract: this article attempts to consider, following other literary critics, some aspects of the image of the Russian penitentiary system in the literature of the second half of the XIX century using narrative approaches. The authors of this article conclude that, while preserving the general humanistic pathos (compassion, the desire to arouse public interest in prisoners), each of the mentioned writers (F. M. Dostoevsky, V. M. Doroshvich, V. G. Korolenko, S. V. Maksimov, N. M. Sokolovsky, M. E. Saltykov-Shchedrin, L. N. Tolstoy, G. I. Uspensky, A. P. Chekhov, P. F. Yakubovich et al.) said his significant word: urged society to pay attention to the important problem of "crime and punishment". However, this author's word sounded differently in each case — according to the creative strategies of the authors.

Keywords: Dostoevsky, Sokolovsky, Chekhov, iterative, singulative, penitentiary system, reforms, hard labor, exile, narrative, genre nature.

Первым автором, заявившим об отношениях властных структур и личности, попавшей в острог и отправленной в ссылку, был, по единодушному мнению исследователей, протопоп Аввакум; одно из письменных доказательств этому — «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (1672), где «многострадальный узник» отразил противоречия современной ему общественной жизни в жанрах «и учительной литературы, и проповеди, и житий, и поучений, и бытовой повести, а также устного народного сказа» [2, 200]. Затем, уже в XIX веке, тема «ссылка и каторга» была основательно пополнена воспоминаниями декабристов (Д. И. Завалишина, И. Д. Якушкина, Е. П. Оболенского и др.), а позднее мемуарами народников (О. В. Аптекмана, Л. Г. Дейча, П. А. Кропоткина, В. Н. Фигнер, Н. А. Чарушина и др.). Подготовка и проведение судебной реформы (принятой в 1864 г.) дали возможность правоведам и общественным деятелям (С. И. Зарудный, А. Ф. Кони, М. Н. Гал-

кин-Враской, Д. В. Стасов, Ф. Н. Плевако, А. И. Урусов) освещать изменения в судостроительстве, судопроизводстве, мерах наказания. В настоящее время подобные материалы множатся трудами современных историков и юристов, в частности, в них можно найти важную информацию о деятельности филантропов, врачей, реформаторов тюрем, писателей: о Дж. Говарде, Ф. П. Гаазе, Б. Д. Ховарде, путешественнике Дж. Кеннана, евангелистах и путешественниках по Сибири и на о. Сахалин Г. Лансделле, Фр. Бедекере, И. Каргеле, о «фельдшерице и представителе «Общества попечения о семьях ссыльнокаторжных»» [6, 287] Е. К. Майер и др.

Во второй половине XIX века общественный интерес к проблемам ссылки и каторги значительно усиливается благодаря художественным и документальным произведениям («Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, «Сахалин» В. М. Дорошевича, «Соколинец» В. Г. Короленко, «Сибирь и каторга» С. В. Максимова, «Острог и жизнь. Из записок следователя» Н. М. Соколовского, «Воскресение» Л. Н. Толстого, «Один на один» Г. И. Успенского, «Остров Сахалин»

А. П. Чехова, «Русская община в тюрьме и ссылке» Н. М. Ядринцева, «В мире отверженных» П. Ф. Якубовича и пр.), многие авторы которых знали о ссылке не понаслышке.

Одним из самых знаменитых и значительных произведений указанной тематики, безусловно, является цикл *повестей* «Записки из Мертвого дома» (1860–1862) Ф. М. Достоевского. Несмотря на обилие приведенных фактов (часто натуралистического плана) — это произведение художественное, и многие его фрагменты, «типы» (персонажи) вошли в «Дядюшкин сон», «Преступление и наказание», «Бесы». Известно, что у многих персонажей имелись прототипы, например, Газин унаследовал черты Газина Фейдулы, попавшего на каторгу «за нарушение воинской дисциплины и кражи» [4, 125]. О творческих импульсах и нарративных стратегиях автора писали многие исследователи (О. Г. Дилакторская, А. С. Долинин, В. А. Туниманов, П. Е. Фокин и др.); отправной точкой для анализа субъектных сфер послужили факты биографии автора «Записок...», отбывавшего срок на каторге, однако рассказчиком («я-повествователем») сделавшего некоего «поселенца», Александра Петровича Горянчикова (В. Б. Шкловский назвал его «Вергилием этого каторжного ада» [16, 104]). Введение *рассказчика* (попавшего на каторгу за убийство жены из ревности) позволило писателю избежать развертывания политической темы и обусловило превалирование в «воспоминаниях» фрагментов «сингулятивных, или единичных» [5, 355]. *Сингулятив* (форма повествования, при которой «единичность нарративного высказывания соответствует единичности излагаемого события»), по словам Ж. Женетта, «является самой распространенной» (1П/1И — один раз произошло, один раз изложено). Примером является одна из многочисленных «новелл»-наравоописаний (у Достоевского они значительно объемнее, нежели в рассмотренном ниже цикле очерков Н. М. Соколовского «Острог и жизнь. Из записок следователя»), представляющая каторжанина Сушилова, которому рассказчик, понимая его затруднительное положение, предложил денег: «Тут он оборотился опять к частоколу, так что даже стукнулся об него лбом, — и как зарыдает!.. Насилу я утешил его...» [3, 62]. Сингулятивным повествованием отмечены и некоторые портреты, детали которых указывают на то, что рассказчик симпатизирует изображаемым людям. У Н. М. Соколовского и А. П. Чехова подобных портретов-характеристик каторжан нет, что обусловлено «физической точкой зрения» (термин Б. О. Кормана) носителей речи, их отдаленностью от самих преступников. Таковы (представленные сингулятивом) портрет «дагестанского татарина» Алея и описание общения с ним рассказчика: «Он лежал, заложив руки за голову, и тоже о чем-то думал. Вдруг он спросил меня: — Что, тебе очень теперь тяжело? Я оглядел его с любопытством, и мне

показался странным этот быстрый прямой вопрос от Алея, всегда деликатного, всегда разборчивого, всегда умного сердцем» [3, 52].

Так как в «Записках из Мертвого дома» изображены не только индивидуальные характеры, но и нравы, царившие в остроге (данное произведение создавалось «под влиянием публицистического дискурса начала 1860-х гг.» [7, 143]), то немало фрагментов выполнено *итеративом*, когда приводится «несколько событий, рассматриваемых только с точки зрения их сходства» [5, 354] (п1/1И — «излагать один-единственный раз (или скорее: за один-единственный раз) то, что произошло n раз» [5, 356]). Итеративом («где референтное содержание речи лишено событийности, но взамен наделено стабильностью и закономерностью естественных (природных) или нормированных (культурных) состояний и процессов» [12, 9]) характеризуется «казенная» работа: «Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесари, и резчики, и золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все трудились и добывали копейку» [3, 17]. Как видно, достаточно большой фрагмент содержит только одну конкретную фамилию, при этом маркеры «многие», «все» («силлептическая формула») указывают на регулярную повторяемость действий.

Отметим, что «псевдоитератив» (Ж. Женетт определяет его как «типичную фигуру нарративной риторики, которую не следует понимать буквально, а как раз наоборот: повествование, буквально утверждающее: «это происходило все время» следует понимать фигурально: «все время происходило нечто в этом роде, одной из реализаций которого является изображаемое событие» [5, 359]), встречающийся довольно часто в упомянутом цикле очерков Н. М. Соколовского и чеховском «Острове Сахалине», крайне редко используется в произведении Достоевского. При этом итератив и сингулятив соседствуют либо без явно обозначенных переходов, либо соединяются *вставками* (Ж. Женетт не без юмора отметил, что они нужны писателю для того, чтобы «помешать читателю заметить перемену аспекта» [5, 373]): «я не мог узнать потом», «но помню» и пр. За вставками следуют или обобщения (например, касающиеся типов народных характеров), или, напротив, переход к повествованию о единичном, исключительном. Повествование о типичном поведении упомянутого выше Газина («бегал не раз», «переменял имя», «такшло несколько лет») сменяется сообщением об единичном инциденте («Еще немного, и он бы раздробил нам головы» [3, 42]), а заканчивается длинным обобщением, содержащим размышления о «неравенстве наказания за одни и те же преступления» [3, 42] с вкраплением «острожной легенды» о *луковице*. Та-

кая нарративная картина свидетельствует о тяготеции Достоевского к *художественному*: к психологизму, стремлению разгадать тайны внутреннего мира преступника, мотивацию девиантного поведения, а также указывает на желание создать некое равновесие между временем повествования и временем происшедшего в реальности события.

Рассказчик-очевидец благодаря указанным переходам получает возможность убедить читателя в своем стремлении и объективно поведать о ситуациях экстремальных, и рассказать о страданиях — своих и чужих. Благодаря различным комбинациям итеративных и сингулятивных эпизодов писатель также может чередовать содержание денотативное (о типичном, явно представленном, например о понятии «свобода» для арестанта) и сигнификативное (отраженное в сознании человека, неявно обозначенное, подразумеваемое — «призрак свободы» [3, 66] для каторжанина, проявляющийся в «кураже», «кутеже», склонности к хвастовству, «к комическому и наивнейшему возвеличиванию собственной личности, хотя бы призрачному» [Там же]). Эмоции, ассоциации (коннотация), часто выражающиеся в сравнениях, либо отражающих признаки определенной эпохи («А чего не отдашь за свободу? Какой миллионщик, если б ему сдавили горло петлей, не отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха?» [Там же]), либо не соотнесенных с конкретным временем (Достоевский сравнивает стремящегося к свободе арестанта с человеком, заживо схороненным, который «колотит в крышку гроба», понимая тщетность своих усилий), соединяются с образами, несущими конкретный (служащий для логической передачи понятия) смысл. Данный прием в дальнейшем будет доминировать в поэтике Достоевского.

В 1866 г. выходит в свет цикл очерков Н. М. Соколовского «Острог и жизнь (Из записок следователя)». Автор был профессиональным юристом, изложившим свой опыт в документальном произведении, где будут преобладать итеративные фрагменты («результат абстракции от множества конкретных действий» [8, 223]) над сингулятивными («то, что происходило однажды» [10, 59]). Тем не менее, первая часть названия («Острог и жизнь») дает понять, что жизнь может содержать события «единичные», вследствие чего появляются сингулятивные сегменты, а также смешанные формы, например, по аналогии с упомянутым выше псевдоитеративом — «псевдосингулятив» (термин, предложенный нами по примеру жеттовского).

Первые страницы соколовского очерка представляют ряд итеративных эпизодов, поэтому в них часто встречаются слова, подчеркивающие цикличность, обыденность: «всем», «для каждого», «несколько раз» и пр. [11, 3; 4]. Однако автор документального очерка хочет быть предельно точным (читатель имеет право получить правдивые сведения о результатах судеб-

ной реформы) и в то же время сделать свое произведение занимательным, нескудным, именно поэтому время от времени повествование окрашивается рядом сравнений, метафор и эпитетов. Указанные тропы (их вкрапления) сделают «юридический документ» более эмоциональным, что не всегда выглядит уместно, но самое главное — они не приблизят повествование к сингулятиву в должной мере, и мы здесь наблюдаем «псевдосингулятив». Соколовский использует сравнения (называемые «социальными» тропами, так как в них менее известная величина («А») становится понятной в сравнении с более известной и актуальной в данном *месте* и в данное *время* величиной «В»), которые помогают прояснить некоторые аспекты пореформенного времени, в частности, в области судостроительства и судопроизводства нового типа, например: *следователь* сравнивается с *анатомом*. Используется и достаточно известная метафора «жизнь — театр»; Соколовский сопоставляет «действительность» и «подмостки», при этом картины действительности не выходят за рамки парадигмы «преступление / наказание» (в основном уже в сфере пенитенциарной системы — преступник находится в остроге). Создается ощущение, что писатель стремится ослабить итеративную природу повествования, однако в пользу «псевдосингулятива» говорит то, что тропы создают не индивидуальные портреты, а обобщенные характеристики типов преступлений, преступников и следователей: «Перед вами — театр, подмостки <...> перед следователем — жизнь, неподдельные страдания, изуродованный, но не подкрашенный человек» [11, 4]. Иногда появляются эпитеты (порой «ультраромантические»), которыми автор стремится «украсить» достаточно мрачные сцены из жизни отчаявшихся бедняков, ставших ворами и убийцами, но тропы эти способствуют скорее созданию эффекта повторяемости, нейтрализации событийности (одной из основных черт сингулятива), нежели фиксируют единичность и выделенность необычных черт или деталей: «Драмы, нередко потрясающие, окрашенные кровавым цветом...» [Там же].

Даже описывая причины, по которым конкретный человек — бывший дворовый (псарь) Драгунов — стал вором, Соколовский сочетает сингулятивные (описание разговорной манеры, внешности самого персонажа, его детей, жены) и итеративные (фиксирующие типичные социальные процессы, например судьбы получивших «волю» крестьян, а не единичные события в жизни личности) фрагменты. Невероятно бедное жилище Драгунова описано, казалось бы, подробно, с натуралистическими деталями, но автор поспешил отметить, что в мрачном овраге разбросано *несколько* столь убогих лачуг, чем подчеркнул «повторяемость», «регулярность» подобных социальных картин, характера детерминированности средой обитателей покосившихся до-

мишек. Очевидно, что сингулятив отчасти придает повествованию занимательности, эстетически уравнивает эпизоды, взятые из тревожных сводок «моральной статистики».

В рассматриваемых очерках есть и примеры прямо противоположные – псевдоитератива (когда читатель, «вследствие богатства и точности деталей», сомневается в том, что данные сцены, поданные как якобы итеративные, «происходили несколько раз без каких-либо видоизменений» [5, 358]). Соколовский знакомит читателя с очередным «бродягой» (личностью уникальной), при этом, не желая прослыть «беллетристом» (автором развлекающего и просвещающего чтива), объясняет, что похожие характеры и поведение встречаются регулярно. Вот как выглядит рассказ о «типичном» заключенном по прозвищу «Мамзель»: «...оказался сыном уездного стряпчего и бежал из отцовского дома с целью узнать, в действительности, как живет народ вообще и отдельные члены его, по острогам в особенности» [11, 443]. Детали портрета и образа жизни «самородка» необычны, исключительны, и об этом юноше можно создать отдельный занимательный (нравоописательный) рассказ, однако жанровые законы данного документального цикла очерков подобные вставки не предусматривают, поэтому появляются такие нейтрализующие характерологию «силлептические конструкции», как «вообще», «все» и пр. Юноши, «уходившие в народ», в то время встречались часто, но в данном случае, судя по реакции повествователя, «Мамзель» был фигурой исключительной, и сам характер повествования всего фрагмента более ориентирован на изображение событийности, нежели процессуальности. Соколовский достаточно часто отказывается *беллетризовать* повествование, например, описывая одного из неисправимых злодеев, автор замечает, что тот «никак не походил на тех героев, которыми мы привыкли угощаться во французских мелодрамах» [11, 144].

Итеративное повествование, безусловно, превалирует в анализируемом цикле очерков, так как авторские стратегии направлены на то, чтобы показать типичных преступников и бродяг, детерминированных социумом. Например, описывая образ жизни бездомных и «безродных», писатель вспоминает красноречивые имена-клички, приводя их во множественном числе, отчего имена собственные превращаются в нарицательные: «...все эти Чудилы, Ходоки, Иваны «непомнящие родства», Таньки-Придорожницы, Маньки-Кочкарницы и проч. по прямой, нисходящей линии происходят от тех, кого горькая доля целыми массами выгоняла из родных мест, от тех, кто впервые вздумали и привели в исполнение свою скорбную угрозу “врозь брести”» [11, 481]. Очевидно, что в данном случае автор делает важное замечание об исторических корнях российского бродяжничества, противопоставленного «общинному

сознанию», «народному единству», «цельности нации» и пр.

Сингулятив, не сопровождаемый итеративными вкраплениями, появляется в цикле «Острог и жизнь...» в тех случаях, когда писатель прибегает к сказовой форме повествования. Автор-следователь мог не хранить записи допросов преступников (хотя возможно и обратное), но реплика вора Драгунова выглядит как единичная, *однажды* услышанная и приведенная: «Нешто вам приказано верить-то нашему брату? Знамо вор, был вором и буду вором. Туруссы-то на колесах мы мастера городить, на это нас возьми. Побольше слушайте!» [11, 5].

В литературоведении отмечалось, что «дневниковые записки» *автокоммуникативны*, так как «рассказ о повторяющихся событиях не может быть интересен собеседнику и не порождает коммуникативных ситуаций» [10, 58]. Соколовский порой не преодолевает беллетристическую инерцию и прибегает к достаточно распространенному диалогу со стороной воспринимающей: «Но недостающее предоставлю дополнить читателю» [11, 10]. Как видно, в данном случае (учитывая разные актанты) «общение» с читателем все же создало «коммуникативную ситуацию».

В 1891–1893 гг. А. П. Чехов работает над документальным произведением «Остров Сахалин (Из путевых записок)», и в письме А. С. Суворину от 28. 07. 1893 г. сообщает, на наш взгляд, о главном нарратологическом принципе своего труда: «То, что Вы когда-то читали у меня, забудьте, ибо то фальшиво. Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по той дороге, пока, наконец, не уловил фальши. Фальшь была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим «Сахалином» научить и вместе с тем что-то скрываю и сдерживаю себя. Но как только я стал изображать, каким чудачком я чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне стало легко» [13, 27]. Какие «там свиньи» (животные домашние и дикие, жилища, нравы, климат и пр.), сообщается в многочисленных итеративных фрагментах («нП/1И»); каким «чудачком» выглядит и ощущает себя в чужой среде известный писатель, передается сингулятивом (1П/1И или нП/нП (произошло n раз, о чем рассказано n раз)).

Ритм чеховской документальной прозы чередованием указанных повествовательных форм (и их синтезированных образований) задается с первых же страниц. В первом абзаце «Путевых записок» автор сообщает о событии явно *единичном* — о своем прибытии в определенное место и в определенное время: «Пятого июля 1890 г. я прибыл на пароходе в г. Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только 27 верст; место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного, вымирающего города совершенно отнимают охоту

любоваться пейзажем» [14, 39]. Сингулятив в данном случае явно уравнивается итеративом, так как первое впечатление от *события* нейтрализуется сообщением о повторяемом, привычном и типичном (*процесс*), а именно: холод, местные нравы, информация, полученная из рассказов очевидцев и книг. Таких фрагментов (где соблюдается некоторое равновесие) особенно много в первой четверти произведения, и это можно объяснить настроением «чужака»-новичка, не торопящегося делать окончательные выводы. Однако далее можно наблюдать множество примеров, где сингулятив, казалось бы, преобладает, но итеративный заключительный «аккорд» переносит акцент с уникальных фактов на множественность и повторяемость явлений, что позволяет сделать вывод в пользу «псевдосингулятива». При рассказе об очень интересном эпизоде путешествия — о прибытии к мысу Джаоре (где, в частности, находилась «избушка» семьи офицера Б.) — сообщается множество подробностей (отвесные ступени, скользкие прибрежные камни и пр.), а также описана встреча с симпатичной супругой офицера: «Я застал изящно одетую, интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусанных комарами. В комнатах все стены покрыты еловой зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом <...>. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что г. Б. — художник» [14, 49]. И оказалось, что достаточно одной фразы (указывающей на такой признак событийности, как фрактальность, в данном случае — обозначение финала маленького эпизода), чтобы перевести занимательный рассказ в разряд итератива: «Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал: — По доброй воле сюда не заедешь!» [14, 49]. Замечание сделано человеком «бывалым», давшим понять литератору-«чужаку», что история этой семьи не уникальна, а типична и очень печальна. Так проявился чеховский подтекст, который (как в художественных, так и в документальных произведениях) позволяет читателю стать соавтором, например «дописать» предысторию офицера Б., по каким-то причинам попавшего на остров Сахалин.

В чеховских «Путевых записках» много примеров псевдоитератива, где нарративная риторика способствует утверждению типичности и множественности определенных процессов, но знаменитая чеховская ирония ставит под сомнение то, что данные явления проходили регулярно и без изменений. Автор, например, сообщает о большом количестве *интеллигентных* людей, встречающихся «по Амуру», но чуть ранее сообщалось о плывущих на корабле — три пассажира, офицер, три сотни солдат, сопровождавших арестантов, причем за одним, закованным в кандалы, следовала маленькая дочь. Приходится усомниться в ведущей роли культурных людей, ко-

торые никак не могут помочь пятилетнему ребенку, держащемуся за кандалы отца. «Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент <...> На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают шестнадцать. Теперь их там, быть может, еще больше» [14, 43], — пишет Чехов, и два последних предложения окончательно убеждают в том, что большое количество генералов (число которых *регулярно* растет) не влияет на изменение ситуации в лучшую сторону.

В анализируемых «Записках» итеративный текст наблюдается при сообщении о процессах обыденных и неизменных, о которых изложено «за один раз» (пП/1И): постоянный «мерный звон кандалов», гул моря, телеграфных проводов, тоска по родине и семье, оставленной арестантами на Рязанщине или в Петербурге (констатация полной бесперспективности существования ссыльных и их охранников сопровождается «силлептическими формулировками»: «постоянно», «ежедневно», «постоянный страх», «во всех селениях», «это обыкновенно происходит» и пр). Типичный процесс прибытия женщин-каторжанок описан следующим образом: «Теперь, когда прибывает партия женщин в Александровск, то ее прежде всего торжественно ведут с пристани в тюрьму. Женщины, согнувшись под тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе, вялые, еще не пришедшие в себя от морской болезни...» [14, 252].

«Остров Сахалин» содержит обширный интертекст, характеризующийся сингулятивным повествованием (1П/1И); сюда относятся фрагменты записок путешественника Н. К. Бошняка (первооткрывателя Императорской гавани), оставившего жизнеописание благородного и мужественного Г. И. Невельского, его жены Екатерины Ивановны, переносившей все лишения (голод, смерть ребенка) «геройски». Истории о встрече с Софьей Блювштейн (Золотая Ручка), о наказании Прохорова, «Рассказ Егора» (из него Чехов исключил сказовые фрагменты) также построены как ряд сингулятивных фрагментов.

Итак, анализ жанровых особенностей трех произведений о «тюрьме и каторге» позволил уточнить характер идеологических и художественных стратегий писателей. Достоевский, повествуя итеративом о таких «прозаических» (обыденных, повторяющихся) явлениях, присущих жизни каторжан, как «казенный» труд, «прислуживание», каждодневные «развлечения» (карты, драки, пьянство), наказание розгами и плетью за проступки, «задает своим читателям высочайший уровень духовной сложности», что реализуется «в предельной обобщенности, с которой поставлены и звучат у него самые принципиальные вопросы человеческого бытия» [9, 278]. Рассмотренная нами функция *вставок*, соединяющих

итеративные и сингулятивные эпизоды, содержащих философский («свобода», «отрицание личности») и социальный (телесные наказания, «кандальное» существование, судебные ошибки) смысл, включающих психологический анализ (примеры адаптации личности к невыносимым условиям, «необъяснимых» причин преступления), направлена на *уравновешивание*, утверждение равноценности единичных событий и множественных процессов в человеческом бытии. Описание процессуальности органично сочетается с сингулятивными (событийными) фрагментами, отмеченными то неуловимой, то достаточно выраженной фрактальностью (например, начала и финалы историй Алея или «восьмиглазого» плацмайора), что станет впоследствии одной из черт поэтики романов Достоевского.

«Записки» имевшего большой опыт юриста Соколовского, поставившего перед собой цель познакомить читателя с типами современных преступников, мотивами их поступков, отличаются не только художественным уровнем (если сравнить с «Записками из Мертвого дома»), но и авторскими целями. Следовательно-практик, отделенный от обитателей острога тюремными границами, к философским, историческим и психологическим обобщениям прибегает редко (может быть, только при попытках определения причин таких явлений, как российское бродяжничество, или «хождениях в народ» редких «самородков»). Границы итеративных и сингулятивных эпизодов достаточно ясны, процессуальность сопровождает бытописание, событийность — изображение нравов преступников. Стараясь избежать явной беллетризации, Соколовский все-таки иногда к ней прибегает в тех случаях, когда испытывает затруднение при стилистических переходах; эти «мелодраматические» узоры и будут выполнять функцию «вставок» в соколовском цикле очерков. Личность рассказчика в данном произведении достаточно конкретизирована (опытный следователь), и его дискурс определяет нарративную стратегию концептированного автора: заинтересовать читателей, желающих ознакомиться с реальными фактами из криминальной жизни, с неприкрашенным народным бытом (солдат, «гуляющих женщин», воров и пр.).

Известно, что Чехов, вернувшись с Сахалина (куда отправился в стремлении обрести творческий стимул), приступил к описанию «жесткого арестантского халата», во многом ориентируясь на «Записки из Мертвого дома» Достоевского (а также на очерк С. В. Максимова «Сибирь и каторга»). При всем отличии творческих манер Чехова и Достоевского стоит отметить сходство писателей в их стремлении выразить безмерную *тоску* по свободе людей (в силу различий интеллекта, моральных качеств, социального происхождения способных по-разному ее выразить, но одинаково остро ощущающих), чью «бессмертную душу» заперли «в плену» (слова Л. Н. Толсто-

го, вложенные в уста арестованного французами Пьера Безухова). Достоевский «доверяет» поведать об этом своему рассказчику, персонажу-каторжанину — Горянчикову, чей личный опыт, наблюдения, переживания позволяют создать сложную картину взаимодействия внешних и внутренних процессов, сопровождающих жизнь человека, отвергнутого обществом. Особую роль здесь играют выше отмеченные «вставки» между итеративными и сингулятивными фрагментами, а также отсутствие «псевдоитератива»; последнее указывает на острое (и подчеркнутое) переживание *каждого* эпизода из жизни каторжан. Чехов ведет повествование от лица условного носителя речи (рассказчик — посторонний наблюдатель) и использует характерный прием «целостного «неотобранного» изображения мира» [15, 213]. Стремление «заразить» (Ж. Женетт) сингулятивное повествование итеративным (что порой иронически окрашено), а также чередование «псевдоитератива» и «псевдосингулятива» дают возможность этому писателю выразить свое мироотношение: признание бесперспективности существования «ссылных», осознание невозможности изменить жизнь к лучшему, неопределенности самого понятия «свобода».

При сопоставлении произведений Соколовского и Чехова можно видеть, как за тридцать лет изменился документальный очерк, освещавший данности пенитенциарной российской системы. Чехов в большей степени отказывается от беллетристических приемов, почти совсем исключает сказовые формы с их установкой на устную речь человека из демократических слоев. Сравнения (голодных сахалинцев с питающимися одним картофелем ирландцами, ново-михайловских палачей («отодравших» друг друга розгами) — с ядовитыми пауками в одной банке, чиновника без усов, но с бакенбардами — с Ибсеном, приключений героев Майн Рида и злоключений, сопровождающих бытие жителей Сахалина) не добавляют эмоций повествованию, а подчеркивают *абсурдность* жизни каторжан, поселенцев, их охранников и палачей.

Как видно, применение нарратологических подходов (а также исследование «экспрессии <...> форм и знаков, слов и оборотов» [1, 177] в произведениях художественных и документальных) дало возможность уточнить некоторые особенности поэтики и идеологических позиций столь разных по уровню таланта, по стилю, жанровому тяготению писателей. Однако и Достоевского, и Соколовского, и Чехова объединяла цель познакомить читателя с миром тюрьмы, ссылки и каторги, с проблемами, без решения которых демократическое развитие общества невозможно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. О языке художественной литературы / В. В. Виноградов. — М.: ГИХЛ, 1959. — 655 с.

2. Гусев В. Е. О жанре Жития протопопа Аввакума / В. Е. Гусев // Труды отдела древнерусской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — Т. XV. — С. 192–202.

3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Художественные произведения. — Т. 4 / Ф. М. Достоевский. — Л.: Наука, 1972. — 326 с.

4. Заровняева П. Д. Типология образов в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского / П. Д. Заровняева // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. В 2 т. — Чебоксары: Интерактив плюс, 2017. — С. 122–127.

5. Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. — Т. 1–2 / Ж. Женетт. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. — 944 с. [<http://uanko.lib.ru/books/lit/jennet-figuru-1-2-1998-1.pdf> Дата обращения: 10. 03. 2021 г.].

6. Коррадо Шерил М. О евангельских христианах на каторжном Сахалине / Шерил М. Коррадо // Вестник Сахалинского музея. — № 1 (12), 2005. — С. 285–296.

7. Ми Сюйян. Раскольники в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского: взаимодействие художественного текста с публицистикой / Сюйян Ми // Известия Уральского Федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки, Екатеринбург, 2017. — Т. 19, № 4 (169). — С. 139–146.

8. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность

с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений) / Е. В. Падучева. — М.: Наука, 1985. — 272 с.

9. Свительский В. А. Ф. М. Достоевский / В. А. Свительский // Русская литературная классика XIX века. — Воронеж: ВГУ — МИОН, 2001. — С. 275–296.

10. Семенова Н. В. Роль итеративного повествования в повести А. П. Чехова «Скучная история» / Н. В. Семенова // Вестник ТвГУ. Серия: Филология, 2019. — № 3 (62). — С. 57–61.

11. Соколовский Н. М. Острог и жизнь (Из записок следователя) / Н. М. Соколовский. — Санкт-Петербург: Издание книгопродавца И. Г. Овсянникова, 1866. — 519 с.

12. Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова) / В. И. Тюпа. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. — 59 с.

13. Чехов А. П. Собрание сочинений. В 12 т. / А. П. Чехов. — М.: ГИХЛ, 1957. — Т. 12. — 868 с.

14. Чехов А. П. Собрание сочинений. В 12 т. / А. П. Чехов. — М.: ГИХЛ, 1956. — Т. 10. — 596 с.

15. Чудаков А. П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение / А. П. Чудаков // А. П. Чехов. — М.: Советский писатель, 1986. — 379 с.

16. Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском / В. Б. Шкловский. — М.: Советский писатель, 1957. — 260 с.

Воронежский государственный педагогический университет

Шpileвая Г. А., доктор филологических наук, профессор Воронежского государственного педагогического университета

Бондаренко В. А., кандидат филологических наук, старший преподаватель Воронежского государственного педагогического университета

Горбацевич О. А., магистрант Воронежского государственного педагогического университета

*Voronezh State Pedagogical University
Shpilevaya G. A., Doctor of Philology, Professor of Voronezh State Pedagogical University
Bondarenko V. A., Candidate of Philology, Senior Lecturer of Voronezh State Pedagogical University;
Gorbatsevich O. A. Master's student of Voronezh State Pedagogical University.*